

## 8. ПЕРВАЯ ПУБЛИКАЦИЯ

О, первая публикация! Она незабываема, как первая женщина. Тогда Москва была усеяна газетными стендами, чего теперь нет и в помине. Возле стендов всегда стояли люди. Странно, ведь газета стоила всего две копейки. Вроде бы купи – и не мучайся. Но нет: стояли и читали. Я шел по Москве, высматривая стенды «Московского комсомольца», и пристраивался рядом с каким-нибудь углубившимся в газету гражданином. Мне чудилось: он в этот миг упивается именно моими стихами.

Но граждане читали в основном про спорт...

Если ты пережил Великое Избиение Поэтического Младенца и не получил пожизненное отращивание к сочинительству, у тебя появлялся шанс стать настоящим стихотворцем. Я сознательно не употребляю слово «поэт», ибо это уже совершенно иная шкала измерений. Стихотворец – профессия, поэт – миссия. Впрочем, в быту эти слова частенько путают. Я, например, застал времена, когда, заполняя анкету, в графе «профессия», нисколько не смущаясь, писали: «поэт». А в графе «место работы» – «Союз писателей». Стихами в ту пору можно было заработать на жизнь, особенно если ты занимался переводами с языков народов СССР. Точнее, не с языков, а с подстрочников. Это была настоящая индустрия, кормившая толпы стихачей. Жизнь одного из таких переводчиков описана в моем рассказе «Пророк». Но я только соприкоснулся с этим родом деятельности. Что-то мне подсказывало: переводы – вид литературного донорства, пусть даже хорошо оплачиваемого. И беда в том, что в нужный момент тебе может не хватить «творческого гемоглобина» для собственных сочинений. Однажды я мучился над подстрочником молодого казанского поэта Амира Махмудова, никак не мог подобрать рифму и, чтобы выкрутиться, приписал ему метафору, которой у него не было в помине – про «девушку, что плавит лед пучком льняных волос». Вскоре пришло восторженное письмо автора, звавшего меня и

впредь не ограничиваться поверхностным прочтением подстрочника, а черпать образы из глубин первоисточника! Я уклонился...

Но многие не уклонялись – и случались казусы. Однажды известного среднеазиатского поэта, автора десятка книг, переведенных на русский язык, выдвинули на Госпремию. Выдвинули скорее не за творчество, а за высокий пост. На Востоке издревле визирь, не сочинивший ни одной газели, вроде бы и не визирь. К нам эта мода тоже прикочевала. Вспомним пойманного на взятке министра экономики Улюкаева, который регулярно печатал в журнале «Знамя» и даже читал на заседаниях правительства свои вирши. Назвать их стихами невозможно – настолько они беспомощны. В одном из них министр РФ советовал своему сыну валить из этой страны. Не слабо! Мы, кстати, в «ЛГ» по поводу «творчества» высокопоставленного чиновника нелицеприятно высказывались задолго до того, как на него надели наручники. Так что обвинять меня в злопахательстве не стоит. А что касается среднеазиатского «визиря», вдруг выяснилось: стихов на родном языке у него нет и никогда не было – одни подстрочники, которые писал его помощник, а уж из подстрочников за хорошее вознаграждение столичные мастера изготавливали «настоящее искусство». Вышел скандал. Но с другой стороны, в том, что крупному чиновнику хотелось прослыть именно поэтом, а не, допустим, экономистом, тоже был особый знак времени...

Но я снова отвлекся. Итак, следующий этап становления молодого поэта – вращение в редакционно-издательскую жизнь. Отчасти начинающий стихотворец уже сталкивался с этим странным миром, когда отправлял в редакцию первые свои стихи. Но это, так сказать, разведка боем, в котором он и получил первые литературные раны. Теперь же твердо нужно было взять штурмом.

Когда впервые приходишь со стихами в издательство или журнал, на тебя смотрят как на придурка, среди ночи разбудившего весь дом да еще нагло попросившего напиться и переночевать. От тебя хотят отбоариться. Кому, спрашивается, нужна лишняя головная боль в виде твоей пухлой рукописи? Свое

первое посещение издательства я запомнил очень хорошо. Это походило на спортивный поединок.

— Может быть, вам, молодой человек, лучше сначала показать стихи в каком-нибудь литобъединении? — дежурно посоветовал мне сотрудник редакции и снова углубился в рукопись, по-моему, свою собственную. На нем был кожаный пиджак, что свидетельствовало о его успехах на творческом поприще.

— Я занимаюсь в объединении при горкоме, — уверенно ответил я.

— Это хорошо, — отозвался он с той интонацией, с какой обычно говорят «очень жаль».

1:0 в мою пользу. Я протянул папку со стихами.

— А знаете, ведь мы берем стихи только у тех, кто уже печатался! — он явно не торопился принять мою рукопись.

— Я печатался. В «Московском комсомольце».

— Ах, вот оно что... — на его лице мелькнула ревнивая тень: в «МК» пробиться было не так-то легко.

2:0 в мою пользу. Папка у него на столе, и он неохотно развязывает тесемки.

— Давайте посмотрим... А это еще что такое? У вас «слепые» экземпляры, а мы принимаем первые, в крайнем случае — вторые.

— А у меня только первое стихотворение «слепое», остальные нормальные. «Слепое» я могу забрать. Но оно про комсомол...

— Про комсомол, серьезно? Ладно, оставьте...

3:0 в мою пользу. Матч выигран!

Рукопись принята и зарегистрирована. Теперь он от меня так просто не отвяжется. Будут, конечно, разгромные внутренние рецензии, требования доработок. Я стану вновь и вновь приходить к нему, приносить варианты, выслушивать критику, сначала чудовищную, позже — товарищескую. Однажды, к какому-нибудь празднику, я прихвачу с собой бутылочку коньяка, он достанет закуску, мы выпьем. Он разоткровенничается и поведаст про то, что выпустил недавно третью книжку стихов, а подлая критика его в упор не видит. Ему уже за сорок, а на творческих вечерах его продолжают объявлять «молодым поэтом». Он-то думал, покупка кожаного пиджака с огромной переплатой что-то изменит в его жизни. Оказалось, нет...

— У меня скоро внуки будут, а я все еще «молодой»... — горько вздохнет он. — Пушкина-то в тридцать семь уже того... ну, понял...

— А Лермонтова вообще в двадцать семь... — вздох-

ну я, вспомнив о недавно отпразднованном своем 23-летьи.

Года через два мы станем друзьями, и однажды совершенно буднично, мимоходом он скажет:

— Беги, Юра, в магазин! Сегодня тебя вставили в «темплан»...

А если твоя фамилия появилась даже в самом отдаленном тематическом плане издательства — значит, ты не зря ходишь по этой земле, бормоча себе под нос стихотворную невнятицу. По моим наблюдениям, есть два основных типа заведующих отделом поэзии — суровый и ласковый. Суровым был, например, заведующий отделом поэзии издательства «Молодая гвардия» Вадим Кузнецов. В ту пору шевелюристый, буйно-бородатый, он смотрел на входящего в кабинет робкого сочинителя, сурово надломив бровь. И твоя душа, жалобно позванивая не востребованными рифмами, уходила в пятки, где и пребывала во время знакомства, не сулившего ничего хорошего. Но, как ни странно, с суровым можно было в конце концов договориться.

А вот если заведующий отделом поэзии источает ласку, медово улыбается и, не дай бог, называет вас «миленьким» или «лапочкой» — можно не сомневаться: ваши стихи он не напечатает никогда... Таким был Натан Злотников в «Юности». Прорваться сквозь его мертвую защиту можно было только с помощью главного редактора Андрея Дементьева. Он влетал в журнал словно добрый ураган и ставил все на свои места.

В те годы существовала система, которую образно называли «перекрестным опылением». Поэты, работавшие, скажем, в журнале, печатали поэтов, служивших, допустим, в издательствах. И наоборот. Такая вот круговая взаимопомощь. Вступить в этот круг было непросто. Конечно, лучше всего — устроиться на хорошую литературно-издательскую работу. Но как? Нужно иметь связи, лучше — родственные. Правда, возможны и другие способы проникновения в «мафию». Один лысенький молодой поэт, например, завел подружку в меховом ателье и буквально закидывал влиятельных писателей прекрасными ондатровыми шапками. В долгу они не оставались: стихи этого шапкозакидателя регулярно появлялись в печати. Я был поражен, обнаружив их даже в сборнике «Шедевры русской поэзии последней четверти XX века». Как же долго

## 9. ОПОЯСЫВАЮЩИЕ РИФМЫ

люди могут хранить признательность за качественный головной убор! Кстати, исчезновения в нашем Отечестве дефицита меховых изделий этот поэт не пережил, исчезнув из литературы навсегда. Другой, бывший футболист, имел домик на крымском побережье, предоставлял его сильным поэтического мира и тоже проник таким образом на страницы периодики. Третий, начинающий драматург, для одного знаменитого ленинописца организовывал у себя на квартире вечеринки с девушками. Тем и жил...

Тогда, конечно, казалось, что это взаимное опыление, все эти мерзости приспособленчества есть органическое порождение проклятого «совка». Но сейчас, окидывая мысленным взглядом литературные просторы постсоветского Отечества, я убеждаюсь в том, что закон взаимного опыления не только не исчез, а окреп, разветвился, даже приобрел глумливую рыночную откровенность. И если в 1970-е годы вхождение в литературу человеку без связей облегчала, как, например, мне, активная общественная работа, то с конца 1980-х молодым поэтам помогало уже участие в андеграунде или даже диссидентство. В сущности, та же общественная работа, только с иным идеологическим знаком и ради не своего, а чужого государства. Сколько неудачливых поэтов плакали по ночам, кляли себя за то, что не догадались, как Бродский, заблаговременно попасть под суд по статье «тунеядство» или на худой конец запастись парочкой приводов в милицию, дабы воспользоваться репутацией борца с советской властью. С особым умилением я теперь слушаю по телевизору страшные рассказы рок-поэта Андрея Макаревича про то, как советская власть едва не сгноила его талант. О том, что «Машина времени» работала в основном на государственном горючем и комсомольской смазке, он умалчивает. Да и кому это теперь интересно?

Об организационно-бытовых хитростях, позволяющих побыстрее вскарабкаться на Парнас, можно говорить бесконечно. Но никого еще услуги, оказанные власти, борьба с ней, женитьба на дочке классика, срочная сексуальная переориентация, что-либо иное не сделали поэтом. Человека, даже чрезвычайно удачливого и предприимчивого, поэтом, извините за трюизм, могут сделать только стихи...

До армии, куда я отправился после окончания института, мне удавалось печататься только в «Московском комсомольце», где работал благоволивший ко мне (да, пожалуй, ко всем молодым литераторам) поэт и журналист Александр Аронов. Я тогда жил в Орехово-Борисове, на окраине Москвы, и мы были соседями. А еще поблизости обитал поэт и переводчик Григорий Кружков. Мы называли себя «Орехово-Борисовской школой». Кружков даже написал такие смешные стихи:

*В Орехово-Борисово  
Не встретишь черта лысого.  
Зато там есть Аронов,  
Поэт для миллионов,  
Кружок его дружков,  
Дружок его Кружков...*

Летом 1976 года вышла моя первая большая подборка стихов в «Московском комсомольце». Ее, как модно выражаться, пролоббировал все тот же Александр Аронов. Сначала предисловие планировали взять у главного редактора «Нового мира» Сергея Наровчатова. Бездомный, как Вийон, поэт Юрий Влодов, изгнанный очередной женой, жил тогда в редакции. Он взялся устроить напутственное слово классика начинающему автору, то есть мне. К выполнению обещания он приступил немедленно, как только я принес бутылку с закуской, сел за машинку и начал печатать: «На днях мне в руки попали стихи молодого талантливого москвича Юрия Полякова...» «А разве так можно?» — робко спросил я. «Да, так нельзя... — согласился Влодов. — Наровчатов так не напишет. Он небожитель. Он напишет вот так: “Днями мне в руки попала...” Вошел Аронов, узнал, что мы пишем предисловие Наровчатова, и сообщил, что тот подал после запоя в больницу, откуда, кстати, так и не вышел. Отличный был поэт — в молодости:

*Он женщину с оленьими глазами,  
Взяв за плечи, с плеча бросает в мох...*

Тогда решили попросить предисловие у Владимира Соколова, лидера «тихой лирики». Набравшись наглости, я позвонил ему, и он, к моему удивлению, согласился. Вскоре мы сидели на кухне его квартиры в Безбожном переулке, он диктовал, а я записывал. Чем-то я ему понравился. Но, собираясь к мэтру, я робел и для храбрости захватил с собой двух друзей-ме-

диков, а они бутылку казенного спирта, настоящего на лимонных корках. К вечеру домой вернулась жена поэта Марианна, сурово оберегавшая его от зеленого змия. Она отругала мужа и разогнала пьяные посылки. Объяснить ей, что собрались мы с уважительной целью – сочинить предисловие молодому дарованию, – никто не смог: спирта было слишком много. Несмотря на этот конфуз, Владимир Николаевич дал потом предисловие не только к подборке, но и к моей первой книжке. Мы дружили до самой его смерти в 1997 году. Мне с товарищами выпало хоронить замечательного поэта. Я до сих пор помню, как мелкий снег падал на его мраморное лицо и не таял...

Незадолго до кончины Соколова я, как бы возвращая долг, издал со своим предисловием последнюю его прижизненную книжку «Стихи Марианне». Жизнь любит опоясывающие рифмы... В моем – ответном – предисловии, носящем название «Классик», есть и такие слова: «Классический поэт – всегда “ловец человек”», точнее, человека. И этот единственный человек – он сам. Для того мучительно и вяжется небесная сеть стихов, ибо она способна уловить мятущуюся, ускользающую, любящую душу, а вместе с ней и дух своего народа, и эпоху, в коей довелось жить поэту. Для классика традиция – не груда обломков, превращенная в пьедестал, но ступени, по которым происходит тяжелое восхождение к себе. Только тому, кто постигает себя, интересны другие, интересно то, что “за стихами”. Родной язык для классика – не распытое лабораторное тельце, дергающееся под током натужного эксперимента, но теплая кровь, струящаяся в строчках живого стихотворения. Классик обречен на гармонию. Наверное, поэтому, стараясь понять Соколова, критика некогда относила его к “тихой поэзии”, но если слово “тихий” и подходит к нему, то лишь в том смысле, в каком это слово подходит к названию океана...»

Много позже я, пользуясь своими возможностями главного редактора «ЛГ» и некоторыми связями в московском правительстве, «пробил» Соколову мемориальную доску, ее собирались прикрепить к стене писательского дома в Безбожном переулке, где поэт одиноко и мрачно существовал после самоубийства своей первой жены – болгарки, с которой познакомился, учась в Литературном институте. Об этой трагедии его стихи:

*Ты камнем упала.*

*Я умер под ним.*

*Ты миг умирала.*

*Я – долгие дни...*

Однако Марианна Евгеньевна хотела, чтобы доска висела на писательском доме в Лаврушинском переулке, где они счастливо жили до самой смерти поэта. Но тут нашла коса на камень. Тогдашний мэр Лужков где-то ляпнул, мол, из-за мемориальных досок Москва стала напоминать колумбарий в крематории. Возникли сложности. На доме, который построили в «Лаврушке» специально для писателей по распоряжению Сталина и где жили многие классики, разрешили повесить лишь одну золоченую доску – второстепенному и ныне прочно забытому театроведу Юзовскому, пострадавшему по делу космополитов на излете сталинской эпохи. Нет, его не расстреляли, как Фефера, не посадили, но потрепали в прессе. Оказалось, достаточно, чтобы получить посмертную доску, в чем отказали одному из лучших русских поэтов XX века Владимиру Соколову...

Вскоре после выхода подборки в «Московском комсомольце» меня забрали в армию, и там, несмотря на все трудности, я неожиданно расписался. Давно замечено, что несвобода окрыляет. Я привез домой около ста стихотворений. Их охотно печатали журналы, и подозреваю, потому, что в редакциях был острый дефицит стихов об армии, проходивших по ведомству «советского патриотизма». Агитпроп, чуя надвигающийся кризис, жаждал от поэтов патриотического пафоса. Но что-то случилось, любовь к родине вышла из моды, обида на Отечество или презрение к нему становились признаком хорошего тона, продвинутости, как голодание по Брегу или воспитание по Споку. Я тоже уходил в армию, страдая совершенно типичным для столичного студента недугом – насмешливой неприязнью к своей стране. Это был неременный атрибут просвещенности вроде нынешней серьги в ухе гея. Из армии я вернулся другим. Помню, как посмеивались собратья-поэты над моими армейскими стихами, над их открытой патриотичностью. Да, после института мне нужно было попасть в Германию, хлебнуть армейской жизни, чтобы:

*... подобрать душой,  
Душой понять однажды утром сизым,  
Что пишут слово «Родина» с большой  
Не по орфографическим капризам...*

Удивительно, как все-таки поэтическая интуиция опережает логическое осмысление жизни! Лишь много лет спустя, почитав книги умных людей и поработав собственными мозгами, я задумался о губительности болезненной неприязни к Отечеству, отчасти навязанной средой и контрэлитой. Теперь, когда разработана теория «сетевых войн», это стало очевидным. «Злость» в отношении своей страны, заразив миллионы, ведет к разрушению, глобальным катастрофам. Поэтическая логика подсказала мне, тогда еще совсем юному и неискушенному человеку, это словосочетание — «подобрать душой».

После больших подборок, вышедших в 1977 году в «Юности», «Студенческом меридиане», «Молодой гвардии», я попал на московское совещание молодых литераторов. Впрочем, это еще ничего не значило — в совещании участвовали десятки, даже сотни молодых. Где они теперь все? Бог весть... Не знаю, как сложилась бы моя литературная судьба, но в 1978 году я внезапно стал секретарем комсомольской организации Московского отделения Союза писателей. Была и такая, хотя средний возраст членов СП СССР в ту пору составлял 67 лет. Кстати, моими предшественниками были поэты Евтушенко, Вегин, Кашежева, Мнацаканян... Почему старшие товарищи остановили выбор именно на мне? Полагаю, потому, что я, единственный из всех молодых литераторов, имел некоторый опыт райкомовской работы и вдобавок после употребления спиртных напитков в бунфете ЦДЛ не буянил... Кстати, «комсомольский след» в моей литературной биографии с хидством припоминают мне до сих пор. А вот об участии одного молодого поэта в групповом изнасиловании, которое шумно обсуждали в те годы, давным-давно позабыли. Странно, если задуматься...

Вскоре я стал работать корреспондентом в возрожденной газете «Московский литератор» под руководством одного из «смогистов» Александра Юдахина, человека по-своему могучего, талантливого, но непредсказуемого и неуправляемого, как «КамАЗ» со сломанной рулевой тягой. Потом ему на смену пришел Сергей Мнацаканян, поэт глубокой культуры, чрезвычайно помогший мне в годы литературного становления. Останься я работать в школе или в том

же райкоме комсомола, конечно, моя первая книжка вышла бы гораздо позже. А так, спасибо комсомолу, — на закрытии VII Всесоюзного совещания мне вручили издательский договор. В 1980 году в «Молодой гвардии» в знаменитой серии «Молодые голоса» вышел мой первый сборник стихов «Время прибытия». Мне позвонили из издательства и сказали: «Приезжай за сигналом!» Я помчался на Сушевскую улицу, взлетел по широкой конструктивистской лестнице и вошел в кабинет главного редактора «Молодой гвардии» Николая Машовца, который меня поздравил и показал тонюсенькую брошюрку на тетрадных скрепках. Тридцать страниц. Сорок два стихотворения.

— Вообще-то, Юра, настоящая книга должна стоять на обрезе! — с улыбкой произнес он и поставил мой сборничек на узенькое ребро. Книжечка по всем законам физики должна была упасть, но почему-то устояла.

— Надо же! — удивился Машовец и как-то странно посмотрел на меня.

В 1990-е он разбогател на издании журналов с кроссвордами, но потом, с изменением спроса, разорился и умер от огорчения.

## 10. В ЛАПАХ ЦЕНЗУРЫ

Это сейчас наличие книжки ничего почти не значит, а тогда — в период жесткой регламентации печатной продукции — ты мгновенно превращался в совершенно особое существо. И даже если эта книжка была не толще двухкопеечной тетрадки, ты переходил в иной разряд человечества. Теперь ты был Поэт-С-Книгой. И если на первом свидании ты дарил девушке свою книжку с дарственной надписью, это производило на нее такое же впечатление, как если бы сегодня ты достал из барсетки толстенную пачку долларов и предложил ей тут же, не заезжая домой, лететь на Канары...

Тираж моей первой книжки, кстати, был не маленький — 30 тысяч, а распространение было налажено так, что, прибыв как-то на Сахалин и зайдя в сельпо, я обнаружил там среди круп, спичек и банок консервов мою книжку. Перебирал на полке стихотворные издания и нашел мое «Время прибытия» между сборниками Анатолия Передреева и Анатолия Преловского. Да, стихи тогда еще читали, и я получил множество писем от поклонников. Начальство, самое высокое, тоже пристально следило за поэтическим

процессом, чуя крамолу. Помню один страшный скандал, потрясший без преувеличения всю отечественную словесность. «Московский литератор», выходявший мизерным по тем временам тиражом — две тысячи экземпляров, — в 1979 году напечатал стихи Феликса Чуева, вроде бы совсем невинные:

*Синее небо средь желтых берез,  
Тонкий виток паутины,  
Алая память негаснущих роз,  
Лето и стынь в поединке...  
И никогда я к тебе не вернусь,  
Не повторюсь, отгорю я  
В жизни твоей. Так зеленую грусть  
Солнце палит поцелуем.  
Если бы в детстве во мне не погас  
Редкостный дар прощенья,  
Душу свою я б не мучил сейчас —  
Цель, недостойную мщенья.  
Если б тот редкостный дар не погас!..*

И вдруг Юдахина вызвали на Китайский проезд, в Главлит, к главному цензору страны! Вернулся он оттуда в ярости, переходящей в суицидальное отчаянье. Оказалось, невинная чувеская элегия на самом деле была дерзким политическим акростихом. Прочитайте первые буквы строчек сверху вниз. Получается: «Сталин в сердце». Скандал выплеснулся на заседание парткома, и Чуеву, члену КПСС, грозили серьезные неприятности. Однако на заседании взял слово уважаемый писатель-фронтовик:

— А что вы, собственно, кипятитесь? Ведь не Гитлер в сердце, а Сталин! Мы с этим именем в атаку поднимались!

— А нарушения социалистической законности? — пытался кто-то возразить.

— Их партия осудила. А за троцкизм я бы и сегодня сажал!

В общем, скандал сошел на нет, но с тех пор, прежде чем подписать номер в печать, Юдахин сурово спрашивал:

— Акростихи есть?

— Нет! — твердо отвечали мы, наученные горьким опытом.

То же самое вплоть до перестройки делали все главные редакторы на бескрайних просторах нашего Отечества... А Чуев ходил героем и нисколько не пострадал. В самом деле: как можно наказать человека за то, что у него Сталин в сердце?

Кстати, неприятная история с цензурой была и у

меня. В 1981-м в издательстве «Современник» готовилась моя вторая книга «Разговор с другом», куда я включил стихи о человеке, которого в 1941-м расстреляли за невыполнение «неправильного» приказа:

*...Тут справедливости не требуй:  
Война — не время рассуждать.  
Не выполнить приказ нелегкий  
Страшнее, чем его отдать.  
Но, стоя у стены сарая,  
Куда карать нас привели,  
Я твердо знал, что умираю  
Как честный сын своей земли...*

Стихотворение цензура сняла прямо из верстки, редактору Александру Волобуеву объявили выговор, и он от огорчения слег с сердечным приступом. Книга вышла гораздо меньшим тиражом, нежели планировалось, что серьезно сказалось на размере гонорара. Меня тоже вызвали куда следует и пожурили. Но пожурили, как я заметил, с какой-то странной симпатией. Друзья-поэты подходили и поздравляли. Не каждого поэта цензура отмечает своим синим карандашом. Но соратники еще не знали, что в моем столе лежат написанные «Сто дней до приказа». Бодаться с советской идеологией становилось делом модным и, как показало время, перспективным. Именно об этом я думаю всякий раз, проходя мимо чудовищного памятника виолончелисту Ростроповичу. Между тем памятника Георгию Свиридову в Москве не поставили даже к 100-летию великого композитора. А за что? Он же, в отличие от Ростроповича, не эмигрировал из СССР, не бегал с автоматом по Москве в 1991-м!

## 11. НЕ ХОДИТЕ ПО НЕБУ!

Меж тем моя литературная карьера шла по восходящей. После публикации стихотворения «21 июня 1941 года. Сон» ко мне в Доме литераторов подошел один из лидеров нашего поэтического поколения Андрей Чернов, автор знаменитых строчек:

*Не ходите по лужам.  
Ведь в них отражается небо!  
Так зачем же по небу,  
По чистому небу — в галошах?!*

Он только что открыл рифму в «Слове о полку Игореве», стал возводить свой род к декабристу Чернову и держался особняком. И вот Андрей подошел и сказал, посмотрев на меня с удивлением: «Знаешь,

раньше ты был просто Юра Поляков, а теперь ты тот самый Поляков, который написал про двадцать миллионов шапок. Поздравляю!»

В июне 1983-го у меня вышла полоса стихов в «Огоньке», самом популярном и тиражном журнале СССР. Среди поэтов моего поколения такого отличия пока никто не удостоивался. Подборка была замечена и бурно обсуждалась. Редактировал тогда «Огонек» Анатолий Софронов, еще сохранивший остатки былого могущества: в 1940 – 1950-е он входил во все-сильный триумвират Фадеев – Симонов – Софронов, который заправлял всеми делами в писательском мире, в том числе и «делом космополитов». Между прочим, оно началось с жалобы в ЦК театрального критика А. Борщаговского, указавшего начальству на угрозу русского великодержавного шовинизма. Стали разбираться – и пришли к выводам совершенно противоположным. Так что не буди лихо... Но если Фадееву и Симонову борьбу с безродными космополитами со временем простили, то Софронову – нет, и в устах тогдашних поборников общечеловеческих ценностей его имя было сродни бранному слову. Однако стихи ему несли все, даже враги, – и он печатал. К тому же в качестве приложения к «Огоньку» выпускались книжечки стихов, прозы, очерков, причем огромным тиражом – до 100 тысяч экземпляров.

Поэтому стоило Софронову появиться где-нибудь среди писателей, как вокруг начиналось подбострастное «броуновское движение». Польстить, подлизаться, напомнить о себе торопились не только молодые таланты, но и ветераны Гражданской войны, помнившие ледяные воды Сиваша. И вдруг Софронова сняли. Неожиданно. По-моему, летом 1986-го. А у нас как раз в те дни проходил выездной секретариат СП СССР в Ленинграде. Утром две сотни писателей, измученных ночными разговорами под рюмочку, высыпали на платформу и устремились к автобусам, которые должны были отвезти их в гостиницу к целебному завтраку. Я, сильно злоупотребивший вчор с поэтом из Челябинска Константином Скворцовым, вышел из вагона последним и обнаружил на опустевшей платформе растерянного Софронова и его молодую жену Эвелину. Они стояли возле двух огромных, явно заокеанского производства чемоданов и с недоумением озирались. За полвека пребывания во власти Анатолий Владимирович, видно, забыл о том, что багаж сам по себе не перемещается в пространстве: его чемоданы всегда подхватывали наперебой

руки жаждущих печататься литераторов и несли куда надо. А тут вот такое дело... И ни одного носильщика поблизости. Я поздоровался, поднял оба чемодана и быстро понес к выходу, торопясь к воображаемой кружке утреннего пива. Больной, стремительно постаревший Софронов, еле поспевая за мной, захотел в благодарность сказать мне что-то приятное и, борясь с одышкой, прошептал:

– Вы... вы... хо... ро... ший поэт...

Мне стало за него обидно. Вскоре он умер. Но его песню «Шумел сурово брянский лес...» поют до сих пор.

27 мая 1984 года произошло знаковое событие: три мои стихотворения были опубликованы в «Правде». Одно называлось «Моей однокласснице»:

*Листья в желтое красятся,  
Не заметив тепла...  
У моей одноклассницы  
Дочка в школу пошла.  
Сноп гвоздик польхающий  
И портфель на спине.  
О ты, время, пока еще  
Зла не делало мне.  
И пока только силою  
Наполняли года.  
Одноклассница, милая.  
Как же ты молода!*

Редактор отдела литературы «Правды», мягкий толстяк по фамилии Кошечкин, выслушав мои слова благодарности за публикацию, сказал, хитро улыбаясь: «Ну вот, Юра, вы теперь самый молодой советский классик!» Публикация в главной партийной газете, по тогдашним понятиям, считалась своего рода канонизацией. Мы ни словом с ним не обмолвились о том, что без моего ведома строчки: «О ты, время, пока еще зла не делало мне» – переделали так: «Как все это пока еще ясно помнится мне!» В самом деле, о каком «зле времени» можно говорить, если общество под руководством партии движется куда положено? Советские писатели были понятливы. Впрочем, это еще цветочки! В «ЛГ», также без моего ведома, пошли куда дальше. В стихотворении «В карауле» у меня были строчки, которыми мне хотелось передать, как жутко мерзнет солдат на посту: «И греет руки стылый автомат». «Стылый» – «постылый» – задумался бдительный редактор Виктор Широков и переименовал: «К груди прижав любимый автомат». Так и напечатали. Я, прочитав, заплакал, а потом долго не пока-

звался на людях. Казалось, кто-нибудь обязательно подойдет и спросит: «Ну и где, чудила, твой любимый автомат?» Нет, никто не подошел...

А через год меня как «самого молодого классика» и комсорга Союза писателей включили — единственного из моего поколения — в список выступавших на вечере поэзии в Лужниках в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов. Я оказался на Малой арене вместе с Егором Исаевым, Риммой Казаковой, Робертом Рождественским, Игорем Шкляревским, Сильвой Капутикян, Андреем Вознесенским, Беллой Ахмадулиной, Ларисой Васильевой, Олжасом Сулейменовым, Андреем Дементьевым, Бобом Диланом, Евгением Евтушенко, приведшим за руку несчастную Нику Турбину — маленькую девочку со взрослым макияжем и ужимками светской львицы.

*О, телефонные звонки,*

*Вы с Богом наперегонки!* —

прочитала с салонной томностью юная поэтесса — новая игрушка Евгения Александровича. Двадцать тысяч любителей поэзии, заполнивших трибуны, одобрительно заревели. Я сидел, дожидаясь своего часа и думал о том, что прославиться на весь мир совсем не трудно, достаточно выйти к микрофону и прямо перед камерами, под софитами, хлопнуться в обморок. Мой придавленный, но не побежденный до конца фобический невроз сладко леденил сердце этой милой перспективой. Дело в том, что в пионерском возрасте я завалился без чувств на сцене Дома пионеров, выронив из рук знамя дружины, и прогремел на весь район. А тут я накануне пережил довольно сильный стресс: за день до вечера в Лужниках ко мне в ресторане ЦДЛ подошел Евтушенко, с которым я знаком прежде не был, и спросил:

— Вы Поляков?

— Я.

— Когда-нибудь вы будете этого стыдиться!

— Чего?

— Того, что согласились выступить в Лужниках!

— ?

— Вы понимаете, что вы далеко не самый талантливый поэт в поколении?

— Не самый... — кивнул я.

— Почему согласились?

— Меня назначили... — пролепетал я.

— Знаю, почему вас назначили! — сардонически усмехнулся лидер громкой поэзии, имея в виду то, что я комсорг писательской организации.

— Не я первый, не я последний, — ответил я, намекая на то, что лет пятнадцать назад Евтушенко сам возглавлял ту же комсомольскую организацию.

— Вы не имеете права опозорить поколение! — рассердился он.

— Я постараюсь.

— У вас есть с собой книга?

— Есть, — я достал из кармана только что вышедший в «Современнике» сборник «История любви».

— Дайте! — он сел за столик, заказал кофе и стал брезгливо листать страницы с такой скоростью, точно владел искусством скорочтения.

Я сидел как вспотевшая мышь, разглядывал золотой перстень с печаткой на его длинном пальце и вспоминал межировские строки, посвященные, как утверждали злые языки, лично Евгению Александровичу, которого он когда-то учил писать стихи:

*На одной руке уже имея*

*Два разэкзотических кольца,*

*Ты уже идешь, уже нагля,*

*Но пока еще не до конца...*

Наконец лицо Евтушенко вздрогнуло, посветлело, и он поглядел на меня с тем прощающим удивлением, какое бывает у людей, если они узнают, что откровенно не понравившийся им неприятный субъект, оказывается, спас из полыни ребенка.

— Вот это читайте! — он ткнул пальцем в стихотворение, которое я написал еще в армии и даже сначала не хотел включать в сборник. Называлось оно «Детское впечатление»:

*Христос ходил по водам, как по суше,*

*Хоть обладал такой же парой ног.*

*Мне десять лет — и я Христа не хуже,*

*Но по воде бы так пройти не смог.*

*Так, значит, я — совсем не всемогущий?*

*И для меня есть слово «никогда»?!*

*Не может быть! Наверное, погуще*

*Была вода в библейские года...*

— А мне сказали, вы вообще рифмовать не умеете... Умеете. Странно... — прощаясь, сказал мэтр с недоумением.

Поэтам свойственно думать, что, кроме них, никто не умеет писать стихи.

И вот я сидел на сцене Малой арены Лужников, ожидая своего часа. Отчитала голосом пропнувшейся весталки Ахмадулина, отыграл «Казнь



Стеньки Разина» сам Евтушенко, одетый в яркий гипюровый пиджак. Теперь — моя очередь. Я встал, плюнул в лицо своему фобическому неврозу, подошел к микрофону, посмотрел на футбольное обилие слушателей и прочитал «Ответ фронтовику»:

*Не обожженные сороковыми,  
Сердцами вросшие в тишину,  
Конечно, мы смотрим глазами  
Другими на вашу большую войну.  
Мы знаем по сбивчивым,*

*трудным рассказам*

*О горьком победном пути,  
Поэтому должен хотя бы наш разум  
Дорогой страданья пройти.  
И мы разобратся*

*обязаны сами*

*В той боли,  
что мир перенес...  
Конечно, мы смотрим другими глазами,  
Такими же —  
полными слез.*

В конце на моих глазах засветились самые настоящие слезы. (Я потом увидел это в записи, по телевизору.) Мне долго хлопали. Но я знал: второго стихотворения читать нельзя — не по чину и не по возрасту. Я вернулся на место и поймал на себе запоминающий взгляд Евтушенко. Чести поколения я не посрамил.

Когда в апреле 2017-го мне позвонили и сказали, что в Оклахоме умер Евтушенко, я только спросил:

— А где похоронят?

— Завещал в Переделкино...

— Я так и думал. Он любил опоясывающие рифмы... ■